





ВСЕМИРНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ПОЭЗИИ

•

Москва



2 0 0 7

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

Москва



2 0 0 7

ПОЭЗИЯ КАК ПРАВДА



воспоминание из студенческих лет. Лекция легендарного Михаила Павловича Ерёмина в Литературном институте. Вот он входит в аудиторию и вдруг останавливается у двери. Хотя лекция о лирике 1820-х годов, начинает читать Некрасова, «Рыцарь на час»:

*Повидайся со мною, родимая!
Появись лёгкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других...*

Читает долго, читает так, как умеют читать совсем немногие, очень просто, для круга друзей и при том давая вес каждому слову в строке.

А смолкнув, своим быстрым шагом подходит к доске, стремительно ухватывает тряпку и стирает одним махом выведенное мелом:

— Нельзя это для прописей!

А были изображены на доске две первых из прочитанных им строчек: до нашей лекции здесь, вероятно, прошло занятие по стилистике русского языка.

Некрасова, действительно, разодрали на тексты для диктантов, на афоризмы какого-то социально-мизантропического толка: «То сердце не научится любить, Которое устало ненавидеть...», «...дело прочно, Когда под ним струится кровь...», «Даром ничто не даётся: судьба Жертв искупительных просит...» или свели к трогательной банальщине: «Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан», «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!»...

Между тем любое непосредственное соприкосновение с лирикой Некрасова, то есть, попросту говоря, её чтение мгновенно отводит нас от устоявшихся стереотипов, увлекает своей неожиданной, именно лирической свежестью. Это ощущение хорошо передал Достоевский, рассказав, как ночь напролёт читал Некрасова, не мог оторваться от страниц. Ну, допустим, он лично знал Некрасова, а перед этим навестил его, измученного смертельной болезнью. Но творчество Некрасова увлекало в разные времена разных людей. Многие годы над его наследием размышлял Василий Васильевич Розанов, самобытнейший русский мыслитель, которого трудно было загнать в интеллектуальный тупик или чем-либо удивить. Но «простой» Некрасов не давался Розанову. Мощь личности Некрасова, невозможность поместить её в какие бы то ни было рамки изумляла даже Розанова.

Собственно, в своих размышлениях он передал всё то главное, что заставляло многих задавать вопросы, иногда недоумённые.

Кто Некрасов? Городской он или сельский? Барин или работяга? Делец, не чуждающийся мошенничества, или верный товарищ, бескорыстный помощник?

Однажды, в «Мимолётном. 1914 год» Розанов даже сравнил Некрасова с евангельским «блудным сыном». «Поэзия Некрасова была прекрасно-искренна, ибо непостижимым образом он до смерти оставался в сущности вихрастым 17-летним юношею, с его «конечно», хитростями и плутовством, которые суть отрицание *ordinis* и *ordinum*», то есть (по латыни) порядка и порядков. «Он до конца жизни, до свадьбы с «Зиной», сам немножко воровал (не имущественно), сам «крал клок сена» с чужого воза, как никому не принадлежащий бык...

Некрасов особенно возмутил всех литераторов петербургских тем, что был «вне общественных правил», жил с чужими жёнами, «любил до смерти» крестьянских баб, не гнушался проституткой — и вообще замечал острым взглядом всякую проходящую девицу. «Нам этого-то и подавай», — кричат гимназисты и всемирные блудные сыны». Словом, Некрасов «принял энтузиазм самого лучшего, цветущего возраста человечества. Открыл его — Христос. «Блудный сын» каждого дома в 16 лет».

При всей парадоксальности этого суждения Розанов очень точно отмечает важнейшую черту человеческого облика Некрасова-поэта. Некрасов преодолел негласно установленное, но издавна утверждённое расстояние между поэтом и читателями, поэтом и обществом. Никогда не посту-

паясь своими литературными убеждениями (о пресловутых «неверных звуках» его лиры скажу ниже), он жил как жилось, смолоду отказавшись от всех внешних атрибутов поэта, как они сложились в пору романтизма, — длинный широкий плащ заменил Некрасову красный шарф, связанный его матерью, который он носил многие годы. Попросту говоря, он шёл из жизни в поэзию, а не из поэзии — в жизнь, как это чаще всего бывает.

Да, была у него мечта — вместо воинской службы поступить в университет, но когда не свершилось, не упал духом, не запил, как тысячи, а нашёл выход, спасение в труде. Дворянин стал крепостным от литературы — но через несколько лет, в изнурительных трудах достиг не только достатка, денежной независимости от кого бы то ни было, но и оказался ведущей силой в новом мощном литературном движении — «натуральной школе». А ещё через несколько лет и сам вышел в число первых русских поэтов.

Уже смертельно больным, в 1876 году он сделал набросок стихотворения «Угомонись, моя Муза задорная...», где есть строки:

*Как человека забудь меня частного,
Но как поэта — суди...*

Просящая, примирительная интонация кажется здесь несправедливой. Некрасов мог бы смело сказать, что его частная жизнь не была в противоречии с его поэзией.

Известные сопровождавшие Некрасова с молодости и, можно сказать, не смолкающие до сих пор замечания о

его двойничестве: мол, едучи после удачной карточной игры в Английском клубе, он плачет и страдает о горькой крестьянской доле, — обличают в злословах людей не просто завистливых, но и духовно убогих. Если вновь вернуться к воспоминаниям Достоевского о Некрасове, то можно заметить: изобразитель незаурядных человеческих характеров, автор восклицания: «Широк человек!», не мог не восхищаться широтой некрасовской натуры, её вместимостью, её открытостью ко всему в мире. Тот же Розанов радовался, выяснив, что к одной тёмной истории присвоения денег Некрасов, как он думал поначалу и не раз упоминал об этом, непричастен: «В моих глазах это — главная тяжесть «всего Некрасова», и слава Богу, что этот могильный камень отваливается. Нет, он был «Соловей-Разбойничек», но не Петербургский шулер. Натура лесная, полевая и с интересом к «чужому товарцу». Но одно дело — обоз разграбить, и другое — объегорить «на векселях».

Розанов приходит к выводу, к сожалению, до сих пор во многом справедливому, что изучение Некрасова чаще всего направлено к тому, чтобы «закрыть и скрыть настоящего Некрасова, нежели объяснить его» в стремлении «стесать в нём острые и непререкаемые углы и принорочить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не «выпячивался» из этого хода». Некрасова «прилизывали» в «благоразумную прогрессивную фигуру», в то время как он «вообще в литературе «разорял», как совершенно инородный в ней человек, рвал её традиции, рвал её суще-

ство». Его сила в его краткости, в умении в «Забывтой деревне» (Розанов приводит в пример это стихотворение) сказать о проблемах крестьянства живее, чем это «в двух томах» делает Гончаров.

«“Некрасовская литература”, — совершенно «дикая» в отношении всей предыдущей литературы, — страшна и истинна в том, что она есть *подлинная литература подлинной, а не вымышленной Руси*». Некрасову «как-то удалось дать «стиль всей Руси»... Стиль её — народной, первобытной, почти дохристианской... <...> И — бросить всё это против цивилизации, злобно — против цивилизации... Он — будто зверь, бродящий по окраине города в тёмной ночи и щёлкающий зубами на город. И к утру — причесался, прилизался и вошёл в город, но с ночным чувством: сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И, в сущности, в одном и другом делал одно и то же — ремизил...».

При этих своих особенностях Некрасов легко вошёл в сознание русского человека многими своими строчками. Говоря об осенней красоте городка, где он жил, Розанов вспоминает Некрасова: «Поздняя осень — грачи улетели» и пишет об «отвратительной литературности русского человека, отвратительной литературности и училищ наших», выражающейся в том, что «лишь вспомнив эту *учебную*, «из хрестоматии», строчку Некрасова, я догадываюсь и впервые *осознаю* о своём отечестве, что и грачи собственно «перелётная птица»...».